

Если бы какую-нибудь хилую, чахоточную наездницу на кляче месяцами без перерыва гонял бичом перед неумолимой публикой по кругу манежа безжалостный хозяин, заставляя ее вертеться на лошади, посылать воздушные поцелуи, покачивать корпусом, и если бы эта игра под непрерывный гул оркестра и вентиляторов так и продолжалась в открывающемся все дальше туманном будущем под замирающее и вновь нарастающее хлопанье ладоней, которые на самом-то деле совсем не ладони, а паровые молоты, – тогда, может быть, какой-нибудь молодой галерочный зритель метнулся бы вниз по длинной лестнице через все ярусы, ринулся на манеж, крикнул бы «Стойте!» сквозь фанфары всегда подлаживающегося оркестра.

Но поскольку это не так, а красивая дама, белая и румяная, влетает сквозь занавес, который распахивают перед ней гордые униформисты; а директор, преданно ища ее взгляда, так и льнет к ней покорным животным; заботливо подсаживая ее на сивого в яблоках, словно она – его любимица внука, отправляющаяся в опасное путешествие; никак не может решиться дать знак бичом; наконец, преодолевая себя, щелкает им; бежит с открытым ртом рядом с лошадью; следит в оба за прыжками наездницы; не может надивиться ее мастерству; пытается предостеречь ее английскими возгласами; яростно призывает держащих обручи конюхов быть предельно внимательными; перед большим сальто-мортале закликает, воздев руки, умолкнуть оркестр; наконец снимает малышку с дрожащей лошади, целует в обе щеки и не может удовлетвориться никакими овациями публики; а сама наездница, поддерживаемая им, вытянувшись на цыпочках, в клубах пыли, с распростертыми руками, с запрокинутой головкой, хочет разделить свое счастье со всем цирком, – поскольку это так, галерочный зритель кладет лицо на барьер и, утопая в заключительном марше, как в тяжелом сне, плачет, сам не зная того.